<http://gefter.ru/archive/18962>

[Ханна Арендт](http://gefter.ru/archive/author/arendt)

Мы беженцы

*Вспомнить все: патриотизм как прибежище отверженных. Классики в гефтеровском проекте «Связь времен», год 1943-й*



© [Фото](https://www.flickr.com/photos/archer10/4201443889/in/photolist-rhAVmq-daK7JK-pH9scF-5pALe4-4N6YBr-dq2jsr-a4fKFy-btaVKL-ebN9is-636Dov-4dkzQm-gkRqTD-7p191Y-aDBCp2-788g9a-mW325b-9dsjGx-7d8wmX-5m1beu-jaJaN-ocrJ2G-5UDz19-jr1TDv-688K1x-gkQXHt-gkAfGs-7pguTK-gkRubR-c4RHoE-9XWYh5-6PhaFr-4SFUad-591Gn-5dQJSH-rqQqR-c9omwL-F281L-7oWgRZ-4mzcit-8z2L6V-dbaCYA-bRpZGp-fq8XfS-iW9GY-buNh8Y-8ExR1q-arwUVx-daKb4s-4viyCv-4xZ3yu): Dennis Jarvis [[CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/)]

Нам не нравится, когда нас называют «беженцы». Мы предпочитаем называть друг друга «новоприбывшими» или же «иммигрантами». Наши газеты — это газеты для «немецкоязычных американцев»; и, насколько мне известно, не существует клуба, основанного преследуемыми Гитлером людьми, чьи члены определялись бы как беженцы.

Беженцем может называться человек, который нуждается в убежище, потому как он совершил какое-то действие или придерживался определенных политических взглядов. Что ж, мы и вправду искали убежища; но для этого мы ничего не сделали, а большинство даже не имеет представления, каково это — иметь радикальное мнение. Из-за нас значение слова «беженец» изменилось. Теперь «беженцы» — это те, кому не повезло прибыть в новую страну без средств к существованию и оказаться под патронатом Комитета беженцев.

До начала войны мы были еще более чувствительны к этому термину. Мы прикладывали максимум усилий, чтобы доказать окружающим, что мы всего лишь обычные иммигранты. Мы настаивали на том, что эмигрировали по собственной воле, и самостоятельно выбирали для себя новую Родину; в то же время мы отрицали тот факт, что наша ситуация хоть каким-либо образом связана с «так называемой еврейской проблемой». Да, мы были «иммигранты» или «новоприбывшие», которые покинули свою страну потому, что в один прекрасный день она просто перестала нам подходить, или же по исключительно экономическим причинам. Мы хотели изменить нашу жизнь, ничего более. Для того чтобы изменить ее, необходимо быть уверенным оптимистом. И мы были очень оптимистичны.

Наш оптимизм на самом деле восхищает, даже если мы говорим это сами себе. История нашей борьбы наконец-то стала известной. Мы потеряли свои дома, а значит и знакомую, привычную жизнь. Мы потеряли нашу работу и вместе с ней уверенность в своей пользе для мира. Мы потеряли свой язык и вместе с ним естественность реакции, простоту жестов, непосредственность выражения чувств. Мы оставили наших родных в польских гетто, а наши лучшие друзья были убиты в концентрационных лагерях, и это значит, что наша частная жизнь отныне разорвана на части.

Однако, несмотря на это, как только мы оказались в безопасности — а многие из нас были спасены несколько раз, — мы начали свои новые жизни, пытаясь в точности следовать всем добрым советам наших спасителей. Нам было сказано забыть; и мы забыли быстрее, чем кто-либо может представить. Нам дружелюбно напоминали, что новая страна станет новым домом; и после четырех недель во Франции или шести недель в Америке мы становились французами и американцами. Самые оптимистичные из нас даже стали говорить о том, что вся их прошлая жизнь была чем-то вроде бессознательного изгнания и только сейчас новая страна научила их тому, как на самом деле выглядит дом. Это правда, что мы иногда возражаем, когда нас просят забыть о прошлой работе; к тому же прошлые идеалы обычно сложно отбросить, если социальные стандарты стоят на кону. С языком, впрочем, не было проблем: после одного-единственного года оптимисты убеждены в том, что говорят по-английски так же, как на родном языке; а спустя два года они уже клянутся на крови, что они говорят по-английски лучше, чем на любом другом языке, — и что немецкий они почти не помнят.

Чтобы эффективнее забывать, мы предпочитаем избегать любых намеков на концентрационные лагеря или лагеря для интернированных, пережитые нами почти во всех европейских странах, — это можно расценивать как пессимизм или неуверенность в новой родине. К тому же, нам часто говорили, что никто не любит слушать об этом; ад — больше не выдумка и не часть религиозных убеждений, но нечто столь же реальное, как дома, камни и деревья. Судя по всему, никто не хочет знать, что современная история создала новый вид людей — вид, который помещается в концентрационные лагеря его врагами и в лагеря для интернированных — его друзьями.

Даже между собой мы не говорим о прошлом. Вместо этого мы нашли собственный путь освоения неясного будущего. Поскольку все строят планы, чего-то хотят и на что-то надеются, мы делаем так же. Помимо этого общечеловеческого мировоззрения, мы пытаемся подходить к своему будущему с научной точностью. После стольких неудач мы хотим знать все наверняка. Поэтому мы оставляем Землю со всей ее неопределенностью позади и устремляем взгляд в небо. И звезды, не газеты, говорят нам, когда будет повержен Гитлер и когда мы станем гражданами Америки. Мы думаем, что звезды — куда более надежные советчики, чем все наши друзья; мы узнаем от звезд о том, когда нам стоит пойти на обед с нашими благодетелями и в какой день у нас больше шансов наконец заполнить все эти бесконечные анкеты, которые наполняют нашу повседневность. Иногда мы надеемся даже не на звезды, но на линии на наших ладонях или на особенности своей каллиграфии. Выходит, что мы узнали меньше о политике, но больше о нас самих, несмотря на то что психоанализ почему-то вышел из моды. Эти счастливые времена, когда заскучавшие дамы и господа из высшего общества обсуждают гениальные шалости своего раннего детства, прошли. Они больше не хотят этих призрачных историй, потому что реальность заставляет их содрогаться. Больше нет потребности очаровываться прошлым; реальность для этого достаточно ужасающа. Поэтому, несмотря на наш искренний оптимизм, мы используем всевозможные виды волшебных приемов, чтобы вызывать духов будущего.

Я не знаю, какие воспоминания и мысли заночуют в наших мечтах. Я не осмеливаюсь узнавать больше, предпочитая быть оптимистом. Но иногда я представляю, что хотя бы ночью мы думаем о наших умерших или вспоминаем стихотворения, которые когда-то любили. Я даже могу понять, каким образом наши друзья с Западного побережья, во время комендантского часа, испытывали это интересное понимание нас не только как «потенциальных граждан», но и как «враждебных иностранцев». В дневное время, конечно, мы лишь «технически» становились иностранцами — все беженцы знают это. Но когда технические причины не дают тебе покинуть дом после заката, становится нелегко избежать всевозможных спекуляций на почве соотношения технического и реального.

Нет, что-то определенно не так с нашим оптимизмом. Среди нас много тех странных оптимистов, которые провозглашают оптимистические речи, а затем идут домой и включают газ или находят достаточно неожиданное применение небоскребам. Они доказывают, что наша кажущаяся приветливость зиждется на опасной близости к смерти. Воспитанные на том, что жизнь — это высшая ценность, а смерть — величайший страх, мы становимся жертвами бóльших ужасов, чем смерть, — не имея возможности найти идеал выше, чем жизнь. Вот почему смерть потеряла для нас свой ужасающий лик, и мы больше не хотим и не можем рисковать своими жизнями ради чего-то. Вместо борьбы — или размышлений о том, как получить возможность дать отпор, — беженцы привыкли желать смерти друзьям и близким; если кто-то умирает, мы радостно думаем о том, скольких неприятностей этот человек избежал. В конце концов, многие из нас точно так же желают уберечься от некоторых проблем, и поэтому мы ведем себя соответственно.

С 1938 года, с тех пор как Гитлер вторгся в Австрию, мы наблюдаем за тем, как быстро красноречивый оптимизм сменяется безмолвным пессимизмом. Со временем нам становилось все хуже — и самым оптимистичным из нас, и наиболее склонным к суициду. Австрийские евреи во времена Шушнига были настолько жизнерадостными, что все современники справедливо восхищались ими. Было просто чудесно, насколько глубоко они были убеждены в том, что с ними ничего не случится. Но когда немецкие войска вторглись в страну, то вчерашние соседи начали устраивать беспорядки в еврейских домах и австрийские евреи стали заканчивать жизнь самоубийством.

В отличие от других актов суицида, наши друзья не оставляли после себя объяснения их смерти — никаких обвинений, никаких претензий к миру, который заставлял отчаявшегося человека вести себя жизнерадостно в последние дни своего пребывания в этом мире. Их письма условны — бессмысленные бумажки. Поэтому похоронные речи над их открытыми могилами всегда короткие, стыдливые и очень многообещающие. Никому нет дела до мотивов, ведь они понятны нам всем.

Я говорю непопулярные факты; и все становится хуже, когда оказывается, что я не располагаю единственным аргументом, который может удивить современного человека, — цифрами. Даже те евреи, которые яростно отрицают существование еврейского народа, честно давая нам шанс выжить, беспокоились о цифрах: как иначе они могут доказать, что лишь некоторые евреи были преступниками и что многие евреи были убиты как искренние патриоты во время войны? Посредством их попытки сохранить статистическую жизнь евреев мы знаем, что этот народ имеет самые низкие показатели самоубийств среди цивилизованных наций. Я уверена, что эти цифры больше не являются правдивыми, но я не могу доказать это новыми, хотя определенно могу говорить об этом, опираясь на свой приобретенный опыт. Этого должно быть достаточно для тех скептических личностей, которые никогда не были до конца убеждены в том, что размеры чьего-то черепа дают конкретное представление о его наполнении или что статистика преступлений может говорить нам об уровне национальной этики. Во всяком случае, где бы европейские евреи ни жили сегодня, они более не подчиняются законам статистики. Самоубийства случаются не только среди людей с паническим синдромом в Берлине и Вене, Бухаресте или Париже, но и в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, в Буэнос-Айресе и Монтевидео.

С другой стороны, мы имеем очень мало информации о самоубийствах, совершенных в гетто и концентрационных лагерях. По правде говоря, мы вообще имеем очень мало информации из Польши, но мы достаточно хорошо осведомлены о немецких и французских концентрационных лагерях.

К примеру, проведя некоторое время в концентрационном лагере Гюрс, я слышала о самоубийстве лишь однажды, и это был намек на совершение коллективного действия, что-то вроде протеста с целью досадить французам. Когда кто-то заметил, что нас в любом случае доставили туда “*pour crever*” [[1](http://gefter.ru/archive/18962#anchor1)], общее настроение внезапно сменилось на неописуемо жизнерадостное. Мы придерживались того мнения, что кто-то может быть аномально асоциален и не заинтересован общими проблемами, в то время как кто-то другой все еще способен толковать происходящее как свою личную неудачу и, соответственно, покончить с собой самостоятельно. И все те же люди, возвращаясь к своим собственным жизням и сталкиваясь с былыми личностными проблемами, снова обращались в тот сумасшедший оптимизм, что граничит с отчаянием.

Мы первые преследуемые нерелигиозные евреи — и мы первые, кто прибегает к самоубийству не только перед лицом надвигающейся смерти. Возможно, философы правы, говоря о том, что суицид — это высшая гарантия человеческой свободы: не будучи вольны при сотворении нашей жизни или мира, в котором мы живем, мы тем не менее вольны оставить нашу жизнь и покинуть этот мир. Религиозные евреи, конечно же, не могут понять эту негативную свободу; они видят в суициде лишь убийство, то есть уничтожение того, что человек неспособен создать, вмешательство в права Создателя. *Adonai nathan veadonai lakach* («Господь дал, и Господь взял»), и они добавляют: *baruch shem adonai* («благословенно будет имя Господне»)*.*

Для них суицид, как и убийство, означает богохульство, атаку на целостность мироздания. Человек, который убивает себя, заявляет, что жизнь не стоит продолжения и что миру не стоит давать ему приют.

Тем не менее, наши самоубийцы не сумасшедшие смутьяны, которые отбросили защиту жизни и мира и пытаются убить в себе всю вселенную. Они выбирают тихий и скромный способ исчезнуть; и кажется, что они просят прощения за такой жестокий путь решения собственных проблем. По их мнению, в общем, политические события никоим образом не связаны с их личной судьбой; в хорошие или плохие времена они будут верить только в себя. Теперь же они нашли какие-то невидимые недостатки в себе, которые не дают им продолжить свой жизненный путь. Получив в раннем детстве определенный социальный стандарт жизни, они падают в своих собственных глазах, когда теряют способность его поддерживать. Их оптимизм — всего лишь тщетная попытка удержать голову над водой. За видимой жизнерадостностью они находятся в постоянной борьбе с собственным отчаянием. И, наконец, они умирают из-за своего рода эгоизма.

Если мы спасены, то чувствуем себя униженными, если нам помогли, мы чувствуем собственную деградацию. Мы боремся, как сумасшедшие, за самостоятельное существование и собственные судьбы, поскольку мы все боимся стать частью того жалкого множества *schnorrers* [[2](http://gefter.ru/archive/18962#anchor2)], которых мы, в особенности бывшие филантропы, помним слишком хорошо. Всего однажды мы потерпели неудачу и поняли, что так называемый *schnorrer* был символом еврейской судьбы, а не *shlemihl*[[3](http://gefter.ru/archive/18962#anchor3)], поэтому сейчас мы не чувствуем в себе право на еврейскую солидарность; мы не можем осознать, что мы сами по себе не настолько озадачены, как весь еврейский народ. Иногда недостаток такого осмысления поддерживался нашими покровителями. Так, к примеру, я помню директора большого благотворительного фонда в Париже, который, всякий раз получая карточку немецко-еврейского интеллектуала с неизменной приставкой «Dr.» [[4](http://gefter.ru/archive/18962#anchor4)] на ней, привычно восклицал высоким голосом: «*Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Schnorrer, Herr Schnorrer!*» [[5](http://gefter.ru/archive/18962#anchor5)]

Вывод, к которому мы приходили, исходя из такого неприятного опыта, был достаточно прост. Быть доктором философии более не удовлетворяет нас; и мы поняли, что для построения новой жизни необходимо, чтобы кто-то сначала улучшил старую. Маленькая и милая сказка была придумана, чтобы описать наше поведение; одинокая такса-эмигрант печально произносит: «Когда-то, когда я был сенбернаром…»

Наши новые друзья достаточно ошеломлены количеством известных людей, но они вряд ли понимают, что в основе описания всего нашего прошлого величия находится единственная человеческая истина: когда-то мы были кем-то, о ком люди заботились, мы были любимы нашими друзьями, и даже арендодатели знали нас как ответственных постояльцев. Когда-то мы могли покупать еду и ездить в метро без напоминания о том, что здесь нам не рады. Мы стали немного истеричными в тот момент, когда газеты начали выделять нас, открыто обращаясь к нам с требованием перестать быть такими противными, когда мы покупаем молоко и хлеб. Нам интересно, как это можно сделать; мы уже чрезвычайно осторожны в каждом мгновении нашей повседневности, лишь бы никто не догадался, кто мы такие, какой у нас паспорт, где были заполнены наши свидетельства о рождении — и что мы не нравимся Гитлеру. Мы стараемся изо всех сил соответствовать миру, где в бакалейной положено мыслить политически.

В таких условиях сенбернар становится все больше и больше. Я никогда не смогу забыть того молодого человека, который, в ожидании получить определенный вид работы, промолвил: «Вы не знаете, с кем вы говорите; я был управляющий отделом в *Karstadt* (огромный универмаг в Берлине)». И так же глубоко отчаяние мужчины средних лет, который для того, чтобы спастись, проходит через бесконечные комитеты, в конце концов восклицая: «И никто здесь не знает, кто я!» Так как никто не хочет относиться к нему как к человеку с достоинством, он начинает отправлять телеграммы «влиятельным людям», с которыми он когда-то был знаком.

Чем меньше нам дано решать, кто мы есть или как нам жить, тем больше мы стараемся принять это, скрыть факты и играть роль. Мы изгнаны из Германии потому, что мы евреи. Но, едва перейдя французскую границу, мы стали «*бошами*» [[6](http://gefter.ru/archive/18962#anchor6)]. Нам даже говорили, что мы должны принять это определение, если мы на самом деле против расовой теории Гитлера. В течение семи лет мы играли нелепую роль, пытаясь быть французами — по крайней мере, потенциальными гражданами; но в начале войны мы все равно были интернированы как «*боши*». В это время, несмотря ни на что, многие из нас на самом деле стали настолько преданными французами, что мы даже не могли критиковать указы французского правительства; потому мы признали, что это правильно — быть интернированными. Мы были первыми **«добровольно заключенными»** в истории. После вторжения Германии французскому правительству оставалось всего лишь изменить название; мы были заключены, потому как были немцами, и не были освобождены, потому что были евреями.

Эта история повторялась снова и снова во всем мире. В Европе нацисты конфисковали нашу собственность, а в Бразилии мы должны были заплатить 30% от того, что имели, как большинство лояльных членов *Bund der Auslandsdeutchen* [[7](http://gefter.ru/archive/18962#anchor7)]. В Париже мы не могли покидать свои дома после восьми вечера, потому что мы были евреями; но в Лос-Анджелесе нас ограничивали, потому что мы были «враждебными иностранцами». Наша идентичность менялась так часто, что никто не мог понять, кто же мы на самом деле.

К сожалению, дела не становились лучше, когда мы встречали евреев. Французские евреи были абсолютно уверены в том, что все евреи, пришедшие из-за Рейна, были, как они называли, *Polaks* — теми, кого немецкие евреи называли *Ostenjuden* [[8](http://gefter.ru/archive/18962#anchor8)]. Но те евреи, которые действительно пришли из Восточной Европы, не соглашались со своими французскими собратьями и называли нас *Jaeckes* [[9](http://gefter.ru/archive/18962#anchor9)]. Сыновья этих ненавистников немецких евреев — второе поколение, рожденное во Франции и должным образом ассимилированное, — разделили мнение высших классов французских евреев. В итоге в одной и той же семье отец мог называть тебя *Jaecke*, в то время как сын использовал этноним *Polak*.

С началом войны и катастрофы, которая поразила европейских евреев, сам факт пребывания в статусе беженца предотвращал наше смешение с коренным еврейским обществом, и некоторые исключения только подтверждают правило. Эти неписаные социальные законы, хоть никогда и не были публично утверждены, имели большое влияние на общественное мнение. А молчаливая позиция и практичность в нашей повседневной жизни куда важнее, чем провозглашение собственной гостеприимности и благих намерений.

Человек — это социальное животное, и жизнь для него становится нелегкой, когда социальные связи исчезают. Моральных стандартов куда легче придерживаться, находясь в текстуре общества. Совсем немногие личности имеют силу сохранять себя в полной мере, когда их социальное, политическое и юридическое положение в полном беспорядке. Не имея храбрости сражаться за изменение нашего социального и юридического статуса, многие из нас приняли решение об изменении идентичности. И это любопытное поведение делает все еще хуже. Эта путаница, в которой мы живем, частично создана нами самостоятельно.

Когда-нибудь кто-то напишет правдивую историю эмиграции из Германии; и ему придется начать с описания мистера Коэна из Берлина, который всю жизнь был на 150% немец, немецкий сверхпатриот. В 1933 году мистер Коэн нашел убежище в Праге и очень скоро стал убежденным чешским патриотом — таким же честным и преданным чешским патриотом, каким он был до того немецким. Время шло, и примерно в 1937 году чешское правительство, уже под давлением нацистов, начинает изгонять своих еврейских беженцев, игнорируя тот факт, что они чувствовали себя потенциальными гражданами. Наш мистер Коэн тогда едет в Вену и перепрограммирует себя, поскольку там австрийский патриотизм является обязательным. Немецкое вторжение заставляет мистера Коэна снова покинуть страну. Он прибывает в Париж в неудачный момент, в итоге он так и не получает обычный вид на жительство. Имея огромный опыт в принятии желаемого за действительное, он отказывается принимать простые административные меры всерьез, будучи убежденным, что он проведет остаток жизни во Франции. Следовательно, он уже приготовился отрегулировать себя относительно французской нации, принимая как «нашего» предка Верцингеотрикса. Я думаю, мне не стоит продолжать историю о приключениях мистера Коэна. Пока он не может решиться быть тем, кто он есть на самом деле, — евреем, никто не может предсказать все сумасшедшие изменения, через которые ему предстоит пройти.

Человек, который хочет лишиться собственной идентичности, на самом деле открывает возможности человеческого существования, что бесконечны, каково и само мироздание. Но возрождение новой личности так же проблемно и так же безнадежно, как новое создание мира.

Что бы мы ни делали, кем бы мы ни пытались быть, мы не получаем ничего, кроме безумного желания изменить себя. Все наши действия направлены на достижение этой цели: мы не хотим быть беженцами, поскольку не хотим быть евреями; мы притворяемся англоговорящими, поскольку немецкоговорящие иммигранты последних лет определяются как евреи; мы не называем себя бездержавными, поскольку большинство людей без гражданства в мире — евреи; мы хотим стать преданными готтентотами [[10](http://gefter.ru/archive/18962#anchor10)], лишь бы скрыть тот факт, что мы евреи. Мы не добиваемся успеха, потому что не можем; под покровом нашего «оптимизма» вы можете легко обнаружить безнадежную печаль ассимиляции.

С нашей помощью слово «ассимиляция» получило «глубокое» философское значение. Вы вряд ли поймете, насколько серьезно это для нас. Ассимиляция необязательно означает приспособление к стране, где мы родились, и к людям, на чьем языке нам случилось говорить. Мы, в принципе, привыкли ко всему. Это мировоззрение стало вполне понятным однажды, когда его высказал один мой соотечественник, который, очевидно, понимал, как выразить свои чувства. Только прибыв во Францию, он нашел одну из тех организаций, где немецкие евреи доказывали друг другу, что они уже являются французами. Во время своего первого выступления он сказал: «Мы были хорошими немцами в Германии, и потому мы должны быть хорошими французами во Франции». Слушатели аплодировали, и никто не смеялся; мы были счастливы узнать о том, как доказать нашу лояльность.

Если бы патриотизм был частью повседневной рутины или практичности, мы были бы самыми патриотичными людьми в мире.

Давайте вернемся к нашему мистеру Коэну; он определенно уже побил все рекорды. Он — тот самый идеальный иммигрант, который всегда и в каждой стране, в которую приводит его ужасающая судьба, сразу же находит местные горы и влюбляется в них. Но поскольку патриотизм до сих пор не является частью повседневной практичности, очень сложно убедить людей в искренности наших повторяющихся метаморфоз. Эта борьба делает наше собственное общество крайне нетерпимым; мы требуем своего принятия вне собственной социальной группы, потому что мы не имеем возможности получить его от местных. Местные же, сталкиваясь со столь странными существами, как мы, становятся подозрительными; с их точки зрения, как правило, только преданность нашим старым странам понятна. Это делает нашу жизнь очень жестокой. Мы могли бы преодолеть подобную подозрительность, если бы могли объяснить, будучи евреями, что патриотизм по отношению к нашим изначальным странам есть нечто индивидуальное. Несмотря ни на что, он искренний и глубокий. Мы писали большие тома для того, чтобы доказать это; платили первому встречному бюрократу, чтобы изучить и объяснить это статистически. У нас есть исследователи, написавшие философские диссертации, описывая предопределенную гармонию между евреями и французами, евреями и немцами, евреями и венграми, евреями и… Наша «подозрительная» лояльность имеет на сегодняшний день долгую историю. В истории полуторавековой ассимиляции евреи являют собой пример беспрецедентной ловкости: все время доказывая свою непринадлежность к евреям, они умудрились в то же время ими и остаться.

Отчаянное замешательство этих Улиссов-скитальцев, которые, в отличие от своего прототипа, не знают, кто они, легко объясняется их чудесной манией отказываться «удерживать» свою идентичность. Эта мания появилась куда раньше — и совсем не в последние десять лет, которые показали нам абсолютную абсурдность нашего существования. Мы, как люди с навязчивой идеей, коим нельзя помочь, продолжаем пытаться спрятать воображаемое клеймо. Поэтому мы полны энтузиазма при каждой новой возможности, которая, являясь новой, кажется нам способной творить чудеса. Мы очарованы каждой новой национальностью, точно так же, как полная женщина очарована каждым новым платьем, которое обещает ей желанную талию. Но ей нравится новое платье ровно до тех пор, пока она сама верит в его волшебные свойства, и она выбросит его в тот самый момент, когда поймет, что оно не меняет ее фигуру — или, если это важно, ее статус.

Кто-то, возможно, удивится, что очевидная бесполезность всех наших странных личин не в состоянии нам помешать. Если человек в самом деле редко извлекает уроки из истории, тогда правдой является и то, что он может учиться только на собственном опыте, как в нашем случае, повторяемом вновь и вновь.

Но перед тем как вы швырнете первый камень в нас, помните, что бытие еврея не дает нам никакого юридического статуса в мире. Ведь если мы начнем говорить правду, что мы **ничто и никто, кроме как евреи**, это будет означать, что мы обрекаем себя на судьбу людей, которые не защищены ни одним специальным законом или конвенцией, а значит мы не более чем просто люди. Тяжело представить позицию более опасную, поскольку мы все живем в мире, где люди как таковые прекратили свое существование довольно давно — коль скоро общество открыло для себя дискриминацию в качестве социального оружия, которым один человек может убить другого бескровно; коль скоро паспорта или свидетельства о рождении, а иногда даже квитанция уплаты налога на прибыль, более не являются формальными бумажками, но предметом социальных различий…

Это правда, что большинство из нас полностью зависит от социальных стандартов; мы теряем уверенность в себе, если общество нас не принимает; мы всегда были готовы заплатить любую цену за то, чтобы быть принятыми этим обществом. Равноценной правдой, помимо прочего, является то, что очень немногие из нас, пробуя прожить без всех этих уловок и шуток с приспособлениями и ассимиляцией, заплатили куда большую цену, чем могли себе позволить: рискуя всего несколькими шансами, которые даны даже изгнанникам в этом сумасшедшем мире.

Мировоззрение этих немногих, которых по примеру Бернара Лазара можно назвать **«сознательными изгоями»**, может быть описано разве что одними недавними событиями, как и мировоззрение мистера Коэна, который старается всеми средствами стать **«выскочкой»**, быть заметным.

Оба эти мировоззрения родом из XIX века, не знали юридического или политического изгнания, а лишь социальных изгоев и их зеркальное отражение — социальных выскочек. Современная еврейская история, начавшись с придворных евреев и найдя свое продолжение в виде евреев-миллионеров и филантропов, склонна забывать о другом направлении еврейской традиции — традиции Гейне, Рахель Фарнгаген, Шолом Алейхема, Бернара Лазара, Франца Кафки или даже Чарли Чаплина. Это традиция меньшинства евреев, которые не хотели становиться выскочками, предпочитая статус **«сознательного изгоя»**. Все положительные еврейские качества: «еврейская сердечность», человечность, юмор, бескорыстный интеллект — качества изгоя. А все еврейские недостатки: бестактность, политическая недалекость, комплекс неполноценности и стяжательство — характеризуют выскочку.

Всегда были евреи, которые не думали, что есть смысл менять свою человеческую позицию и свое естественное понимание реальности на ограниченность кастового духа или сущностную нереальность финансовых операций.

История перевела эти оба вида в статус изгнанников. Письмо все еще не приняло великой мудрости Бальзака “*On ne parvient pas deux fois*” [[11](http://gefter.ru/archive/18962#anchor11)], потому они не понимают диких мечтаний предшественников — и чувствуют себя униженными, разделяя их судьбу.

Те немногие беженцы, которые настаивают на провозглашении правды, даже до уровня «неприличия», получают взамен их непопулярности одно бесценнейшее преимущество: история больше не является для них закрытой книгой и политика теперь доступна для евреев. Они знают, что изгнание евреев продолжилось изгнанием большинства народов Европы. Беженцы, кочующие из страны в страну, представляют собой авангард своих народов — если они сохраняют свою идентичность.

Впервые еврейская история более не отделена, но связана со всеми другими нациями. Гармония европейского общества развалилась на части, когда — и потому что — оно позволило самым слабым его членам быть исключенными и преследуемыми.

**Примечания**

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up1)1. На смерть (фр.). — *Здесь и далее примечания переводчика*.

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up2)2. Нахлебник (идиш).

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up3)3. Хронический неудачник (идиш).

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up4)4. Доктор.

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up5)5. «Доктор, Мистер Доктор, Мистер Нахлебник, Мистер Нахлебник!» (нем.).

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up6)6. Французское прозвище немцев.

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up7)7. Союз немцев за границей (нем.).

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up8)8. Евреи из Восточной Европы (нем.).

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up9)9. *Yekke* — немецкоговорящий еврей (идиш).

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up10)10. Южноафриканская народность.

[↑](http://gefter.ru/archive/18962" \l "up11)11. Один не может быть выскочкой дважды (дважды в одну реку не войдешь).

***Перевод Евгения Монастырского***

*Источник:****Arendt H.****We Refugees // Altogether Elsewhere: Writers on Exile. Ed. by M. Robinson. Faber and Faber, 1994. P. 110–119.*